

# ЗУБЕРМЕНСЧ

## Повесть

### 1.

Кто-то взялся было чистить апельсин, да передумал — так и остался висеть оттопыренный шмат белой подкладкой наружу. И на этой засохшей уже, годной в чай цедре обозначим ландшафт: леса с полянами, реки с холодной рыбой, озера с лилиями, воздух с черными мухами и золотой пылью. Все это можно залить кипятком, настоять и выпить, если ты бог и тебе все нипочем, но мощную лупу взял простой великан и видит, как бабка Дзычиха, выпятив горб, собирает в помятые ведра содомские яблоки, которые давеча выкопала из жирной земли, из мягкой цедры, и рассыпала по двум прямоугольникам огорода, разделенного полосой тропинки, что ведет к старой гнилой копанке с четой дохлых ежей на дне. По сторонам огородных площадок должны быть соседские огороды, но давно их заимел сорняк, и кое-где лишь, по правую сторону от Дзычихиных грядок, торчат стебли земляной груши, топинамбура, из которого Фитиль гнал не самогон даже, а другую какую-то боль, но не теперь. А теперь он рассыпал гвозди возле пасеки, чтобы отыскать гожий транзистор; гвозди, винты, гайки, паяльная смола, кусок воска, ржавый напильник, шпингалет, шмат синей изоляты — среди них должен обретаться транзистор. С сим перечнем вещей Фитиль находится северней Дзычихи в прямой улице Епифановки, а южней Дзычихи струится сине-зеленая линия реки — на берегах ее разбросаны купальщики, рыбаки, ракушки. В промежутке между рекой и старухой ширится луг, где ветер разбросал семена душистых трав. В травах рассыпаны сухие кузнечи с прыгучими ногами, и сверчки, и ящерицы, и волосатые пауки. Северней от Фитиля раскиданы лесные горелки, обугленные кости кабанов, лосей и птичек. Еще северней стоит Погореловка, воссозданная из шлакоблоков и ламината. Другие селения валяются кое-как в лесостепи, храня людей и тараканов от неогороженных пространств.

Автор перестал быть богом, он превратился в орбитальный спутник.

Ориентация: норд; трасса М-4: фуры, щебень, бензин, курево, попутчики, придорожное кафе «У Алишера», загадочная надпись «Развал-схождение». Хвойные деревья темнеют и заостряются по мере приближения к северу — так человек заостряется от южного пигмея к скандинаву. И вдруг повесть устремляется вниз — это русские горки — к земле, к подошвам, к щербатому асфальту кирпичного города, который только что размазан был у кромки картографической суши бесформенной инфузо-

---

Антон Владиславович Заньковский родился в 1988 году в Воронеже. В 2007 году переехал в Санкт-Петербург. Прозаик, философ. Печатался в журналах «Acta eruditorum», «Апокриф», «Нева», «Опустошитель», в научных сборниках «Деконструкция», «Четвертая политическая теория», размещал статьи на украинских аналитических сайтах. В настоящее время живет в Индии.

рией, к ботинкам оксфордам безвестного Зубермана З. Он идет, шеголяя изысканной тенью, отбрасывает ее, мужскую расстегнутую тень со светящейся солнечной прорезью для единственной пуговицы — американское солнце фасона. Коричнево-малиновые узкие шерстяные брюки Захара и твидовый пиджак цвета гнилой сливы ловко складываются в пиджачную пару; на нем черная бархатная рубаша с перламутровыми пуговицами, и манжеты ее, французские манжеты с нахальными запонками в виде миниатюрных глазастых яичниц (желтые самоцветы в серебре) перепачканы женской влагой: только что Захар окунал руки в женщину так, как сейчас окунает в карманы.

И теперь Кирха, невыспавшееся дитя, сонно тянет с блюда сизую виноградину и губы в вермут окунает, чувствуя еще в себе Зубермана, хотя он уже идет к любовнице и не думает о Кирхе — он ее тактильно обоняет, слушает ритмичные колыхания телесных токов: послевкусие долгих соитий.

Так идет безвестный Зуберман, утомленный анатом, с цедрой в кармане. И если приколоть Дзычиху иглой невероятного циркуля к плодоносным грядкам, а другой его конец отвести на сорок градусов, то грифель циркуля как раз будет торчать из Зубермановых штанов. Из точки А в точку В: от жены к любовнице, от красивой и умной фемины к второсортной гризетке, от тридцать шестого размера к тридцать девятому, от третьего размера к нулевому, от запрещенных изысков любви к трудовым будням миссионерских радений — с Васильостова, где молодоженам купил квартиру родитель Кирхи, идет он в захиревшие кварталы (зачем?)...

— Да он присушенный! — предполагает Дзычиха, обирая узловатыми пальцами длинные ростки с фиолетовой картофелины.

...в кварталы, где неумытая шпана водит хороводы вокруг подоженных мусорных контейнеров и забивает крыс камнями. Заключение в скобки вопрос, этот ЗК повести, этот тюремщик, обречен коротать срок до скончания истории — такова эсхатология рассказа. «Зачем?» — не голем ли это с табличкой во рту: вытащишь ее — и великан распадется комьями еврейской глины. Хотя амнистия возможна, то есть ответ на вопрос, ответ, ломающий скобки, так что они падают лодочками (как препятствия в примитивной компьютерной игре), тесня буквы по левую и правую сторону строки, но лишь в том случае, если читатель доживет до последних страниц.

\* \* \*

Где тоскливые пони катают по кругу детей и те треплют их пресловутые челки, где стела торчит ногтем и виднеются кирпичные развалюхи, где памятник Петру Клодту пижонится возле театральной мастерской, где конюшни пахнут сеном и навозом, а художники на пленэре растворителем и маслом, — здесь шагает Зубермэнш; джентльмен за котельной упражняется в цигун, а Зуберман шагает мимо, вдоль академической стены, за которой студенты с длинными кистями — белка, пони, соболь — танцуют перед мольбертами под аккомпанемент учительских наставлений:

— Так, заканчивайте бродить! Уже должен здесь стоять и работать, а он приходит, явление народу, как будто у него там это все прекрасно! Вот эти вот чуть-чуть старайся, старайся сейчас взять вот в целом. У вас ушко не доделано и височной линии нет. Скуловая кость... вот так смотришь с расстояния, и я, например, не вижу той версии, которая должна быть. Раз у вас тут фрагмент появляется, надо посмотреть касания, касания более темные чуть-чуть. Такое ощущение

ние, что это у вас внутренняя часть бедра, а надо, чтобы тут казалось, что тут пошире. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Вы вот до этого дошли, до этой тени, а вот где, где граница? Граница внутренней поверхности бедра? Второе посадите чуть-чуть. Щечная поверхность. Все-таки голова, она потемнее, чем в целом, понимаете? Много одинаковых, однообразных... и, надеюсь, в процессе? И, конечно, лоб вот здесь: тут такая шишка, даже у новорожденных такой нет. Посмотрите, сравните, сравните его ширину. Хорошо, что вы делаете хорошо... надо еще будет поработать. Вы принесли копию? Что значит «не знали»? В субботу я тоже вас ждал! Что я должен вам говорить, когда я буду? В субботу я ожидал, в понедельник — пожалуйста, я пришел! Надо закончить. И копию уже надо показать, потому что отдельная оценка за копию. Здесь тоже еще очень много работы. Зоя, вы пропускаете, закончили бы, и все. Вот эту разницу между боковой поверхностью и фронтальной — решить. Кубик, мы можем решить кубик. Вот это тень, а вот это свет на боковой поверхности. Посмотрите — тень, начиная с этого, с этого уголка. Вот это все попадает в тень, это — свет. Можем кубик нарисовать под драпировкой.

Так говорит струйка звука сквозь трещинку в штукатурке огромного здания, говорливый сквознячок в зазор двухсотлетних кирпичей академии, а Зуберман внемлет, прислонившись волосатым ухом к стене...

— Вот еще один деятель! Иди в столовую погуляй. Пришел бедный с этими. Ты приехал? да? на велосипеде? Преодолевал, наверное, как Ломоносов, да? Учиться вот так! Да, когда последние дни нечего выставлять, а он наушники слушает. Я б тебе вообще эти наушники выбросил бы с третьего этажа! Так что, Кать, это просто вот от сердца. К вам у меня нет абсолютно никаких претензий, просто хотелось бы, чтобы был вот тот же результат, который вы заслуживаете и можете его получить, потому что технически у вас все есть. Как бы вот чуть-чуть, может быть, не хватает сейчас, вот, может быть, поздно начали, понадеялись, может быть, на свои запасы. Знаете, у каждого художника есть, у каждого есть свой какой-то такой запасик. Сейчас не хватило по этим задачам, которые не хватило. Они стали сложнее, видите, сложнее. Вы впервые, мне так кажется, что вы впервые, мне так кажется, может, я ошибаюсь, вы впервые пробовали с фоном работать — это шаг, это шаг, в общем-то. Сколько можно на белой бумаге работы делать? Надо же задачи ставить разные и найти для себя какой-то... Это тоже, это очень близко, это так, как рисовали в 50-е 60-е 70-е 80-е годы рисовали, я вам показывал эти образцы, у нас висели образцы, это рисовали с фоном обязательно, потому что это та же задача, что в живописи, только цвет добавляется, а вы анализируете не только пропорции, но и тон, глубину, касания. Это тоже... Сейчас я вот с вами разговариваю. Хотелось бы чуть-чуть погасить вот эту, плечо, вот штрихи вот эти, тут вы правильно, очень хорошо сделали, здесь бы хотелось вот такие вертикальные, может быть, вот до такой степени, вот продолжить, вот здесь, вот не трогать, а здесь хорошо палка. Все так, как мы у Юры попробовали.

Зуберману надуло в ухо, он идет сквозь садик Румянцевым Победам (туркам вход воспрещен!), идет мимо вспененных Ростральных фаллосов, пешком по мосту переходит, минует Зимний дворец, широкую площадь, желтизну правительственных зданий. Высоко над Исаакием повис аэростат, и некий папа объясняет чаду, как отличить его от дирижабля. Невский проспект пьянит гушей подвижных предметов: живая и неживая материя перемещается, ловко избегая столкновений. День пузырится людьми, пенится бодростью городской суеты — так перекись водорода шипит на ранке. У Катькиного садика к пиджаку Зубермана подходит белая блузка,

и коротко стриженная девушка со вздернутым носиком, вооружившись улыбкой блестящих влажных губ, обращается к Захару:

— Здравствуйте! Мы проводим социологический опрос. Не могли бы вы ответить на два вопроса?

— Опрос, вопрос... рифма не очень, но я согласен.

— Почему вы пришли сегодня на Невский проспект?

В искреннем затруднении Захар склоняет голову, но вдруг решает действовать ва-банк и говорит неправду:

## 2.

— Мы с приятелем частенько сидим возле окна вон в том кафе через дорогу, наблюдаем разную всячину и делаем выводы. Вот, например, чтобы умертвить вас, — Зуберман хирургично смерил девушку взглядом, — достаточно проколоть сантиметра на три. Правда? Ну, смотря, конечно, в каком месте. Во всяком случае, достаточно совсем чуть-чуть повредить человека, чтобы, по крайней мере, сбить его с прямого пути. Ergo: человек и его траектория весьма уязвимы. Не забывайте о препятствиях: автомобили, троллейбусы, другие пешеходы. Право же, удивительно, что мы друг с другом не сталкиваемся, что в нас есть такие настройки, которые позволяют обходить друг друга. И только иногда кому-то наступают на ногу.

— Должно быть, вы философ? Кстати, это второй и последний вопрос. На него желательно ответить коротко: ваша профессия...

— Если верить известным ходунам, то удивление есть первая ступень философии, но я только переводчик. А вы слишком спешите. Вы, наверное, приезжая, да? Две минуты на исходе, но ведь я тоже имею право отнять у вас минуты две, правда? Чтобы честно было. Я не договорил еще. Да и вам нелегко суммировать все сказанное, чтобы четко определить цель моего пути.

— Вы пришли посидеть в кафе с приятелем, разве не так?

Даже некоторые прихвостни Екатерины расслышали смех Зубермана, а прохожие туристы из Поднебесной недоверчиво оглянулись.

— Вот все вы так, — заговорил Захар, отдышавшись, — это, знаете, как если бы я сегодня вечером рассказывал... да вот хотя бы приятелю своему: подошла ко мне девушка в черном нижнем белье и давай спрашивать, зачем я на Невский пришел. Ведь на вас черное, просвечивает. Блузка белая, а бюстгальтер черный. Это так модно, я знаю. Но ведь на вас не только бюстгальтер, правда? Если я вдруг забуду упомянуть все остальные детали вашего наряда, то выставлю вас черт знает в каком свете.

— Спасибо вам за две минуты. Очень интересно поговорили, но мне еще надо пятьдесят анкет заполнить. До свидания! Вы очень милый.

— «До свидания» — это хорошо звучит. Кстати говоря...

— И даже на красный свет ходят, — продолжал Зуберман сутки спустя рассказывать уличной вопрошательнице: она дала свой телефонный номер и согласилась выпить с Захаром чайку в кафе на Невском.

Первым делом она призналась, что ее зовут Дарина, и похвасталась студенческим билетом Академии художеств. Барышня была ничего себе, а запах ее, смешанный с запахом краски, растворителя и неплохих прохладных духов, говорил Зуберману о многом: о хорошем состоянии ее родителей, о том, что девушка не страдает невинностью и водит автомобиль. Так что Зуберман продолжал:

— Удивительно, одну венку надрезать, казалось бы, и получишь фонтан крови. Жизнь колеблется на спичечной головке или как пламя свечи на сквозняке.

Зубермановы рассказы возымели успех: Дарина пригласила Захара к себе в театральную мастерскую при Академии художеств, то есть просто-напросто в подвал с голыми кирпичными стенами, где второкурсники делали макеты декораций, дописывали портреты, порой ночевали, порой выпивали с преподавателями. Одну из трех комнат приспособили под кухню, но и здесь стояли мольберты; в других комнатах были диванчики, но Зуберман пренебрег ими.

— Ведь это же чудовищно интересно! Правда? Две расы: мужская и женская, намеренно так сделанные, что одно подходит к другому. У тебя есть недостаток, у меня — излишек, — говорил Захар, поглаживая Дарину, уже обрызганную его липкой некошерной смолой.

С некоторых пор, вместе с трехлетним сыном, в театральной мастерской жила Валентина, и ее пьяный бывший муж раз в три дня приходил скандально мириться, чем навлекал на Валентину недовольство остальных студентов, но в этот вечер Валентины с Мишкой не было. Этим воспользовалась Дарина, возжелавшая познать Зубермана.

Зуберман пренебрег ими — посадил Дарину в кухне на стол, заваленный эскизами, чашками, красками; возле приоткрытого окна, так что свежая крапива росла на уровне лица и Клодт поодаль щеголял ботинками. Дарина уже вцепилась в его волосы и сама принялась неистово любить, двигая бедрами, и в этот миг надо же было мальчику побежать от памятника смотреть свежую травку! Слава Эроту: отец не увидел того, что увидел его малолетний сын, заглянув сквозь стекло в подzemелье и вытоптав крапиву под окном: ее аромат овеял суматоху любовников, когда Зуберман пытался заслонить Дарину собой, а себя — пиджаком. Они долго смеялись, и запах молодой травы держался в комнате.

— Ведь это же чудовищно интересно! Правда?

\* \* \*

После того как Зуберман условился о встрече с Дариной, он двинул дальше по Невскому, не нарадуясь своему остроумию, — так ловко девушку сумел закадрить, пользуясь только лишь искренним, непреложным удивлением, высказав просто-напросто себя наизнанку. Напомним: он шел от жены к любовнице, от королевских креветок следовал он к постной кашке. Он думал, что рискует потерять обеих, хотя рисковал потерять жетон метрополитена, дырявя пальцем брючный карман. И ни с каким другом на Невском не должен был встречаться — это он просто так наврал Дарине. Захар фланировал, изучая встречные физиономии, но, как ни вглядывался, не видел хороших прямых линий Юпитера и Меркурия на лбах. Почему он знал эти линии? Потому что уже полгода сотрудничал с издательством «Ex nihil lux». Издательство возглавлял сарацин Феррах, с которым Захара свела его знакомая филологиня Дабасова. Она спасительницей вынырнула из мира в минуту крайнего отчаяния Зубермана, как это всегда и бывает. Когда Захар уже хотел было утопиться в кастрюле, а не варить в ней гречу.

— Что делать? Придется переводить идиотскую книгу по хиромантии, — разводил Захар руками, наблюдая за полетом трезвонкой мухи вокруг жениной головы.

За перевод ему хорошо заплатили, лучше, чем в издательстве «Алфавит», крупнейшем в стране, для которого Захар перевел дневники Монтерлана. Вскоре Феррах подкинул ему опус по физиогномике.

— Теперь я знаю, что у тебя пророческий дар, — говорил Зуберман Кирхе, — вот у тебя на лбу рядом с корнем носа четыре линии. Значит, ты духовно одаренный человек, неколебимый в своей религиозной вере и способный к древним языкам.

Вскоре Захар освоил метопокоскопию — технику гадания по линиям лба. Вот почему, планируя по Невскому, Захар изучал встречные физиономии на предмет хорошей линии Юпитера, но — тщетно. Так он глазел и всматривался и наконец пришел к беде водителей — к «зебре» на площади Восстания, где вечно восстают зеброходы, каждую четверть часа устраивая великую пешеходную революцию: бодрой гурьбой переходят улицу на красный революционный свет. Надо сказать, лицо Зубермана выражало скорее омерзение, чем отрешенность, но вдруг что-то поползло, поползло по его лицу, на котором все линии планет были извилисты, как орнаменты рококо, — и расплозлось удивлением встречи: мы стояли посреди Невского, машины визжали сигналами, водители захлебывались бранью, а мы жали руки друг другу. Моя линия Юпитера на редкость ровна, так что Захар был рад встрече, если не со мной, то с линией — точно.

— Так, — сказал Зуберман, — твоя линия Юпитера указывает на богатство, благоразумие и добрый нрав. У людей с такой линией резкий и сильный голос, так что все сходится.

— Так, — сказал Зуберман безвестный, — если мы сейчас пойдем на Третью Советскую в «Три лилипута» и выпьем там три бутылки грушевого сидра, вместо того чтобы я пошел дальше к женщине, а ты к черту... это как, нормально? Ты не подумаешь, что я скрытый содомитянин, потому что предпочел тебя любовнице?

Я познакомился с Захаром в Москве, на вступительных экзаменах в Литературный институт. Стоя под козырьком институтской парадной, абитуриенты озабоченно курили, созерцая летний дождь. Какой-то взлохмаченный ящер, скорчив презрительную мину на добром лице так, что черты исказились, брови ощетились, а нос вздулся негром, сплюнул окурок и спросил, кто пойдет с ним за пивом. Докуривая сигарету после нервного вступительного диктанта, я ответил на вызов, и мы, щеголяя цитатами, побрели под дождем в сторону Тверской. Вскоре мы уже сидели в отделении милиции за «распитие в общественном месте», но продолжали беседовать о литературе модерна и философии постмодерна; милиционеров мы попросту не замечали, а те вполголоса переговаривались и заполняли свои бумажки, стараясь не мешать нам. Впервые я встретил человека, который впечатлил меня своей эрудицией. Самоучка и умница, он обладал редким вкусом, саркастично изъяснялся и ни к чему не относился всерьез: рассуждая об Эмпедокле, он мог сказать что-то по-гречески, а потом зловеще рыгнуть, изображая тот самый вулкан, что выблевал сандалий философа. Вскоре, из-за винных возлияний, мы успешно провалили последний экзамен. Захар отправился в Чуйскую долину, а я вернулся в Петербург. Несколько лет он блуждал в пространствах, женился, развелся, уехал в Финляндию, но вскоре сбежал обратно в Россию с новой женщиной, Кирхой, которая из-за него бросила учебу в Хельсинки.

Мы зашли в кафе «Три лилипута», где еду и напитки подавали в огромной посуде, а вилки и ножи раскладывались наподобие антенн так, что можно было подцепить прибором юбку официантки. После третьей бутылки Зуберман решил ответить на телефонный звонок, хотя до этого не обращал внимания на призывы.

— Отвечу наугад: если Кирха, то пойду обратно домой, если Дана, то пойду к ней.

Из Захарова телефона раздались мужские вопли; очевидно, звонил кредитор. Он тотчас сбросил вызов и решил идти к Дане.

— Теперь я перенервничал, так что домой не вернусь. Деньги я ему не отдам. У него круг на линии Юпитера, что предвещает утрату богатства. Сам виноват — отрастил себе круг, скотина!

За те два часа, что мы пробыли в кафе, мне только изредка удавалось вставить слово, но я с интересом выслушал пересказ Захарова дня, тем паче что знакомство

с Дариной, а главное, техника знакомства наполнили этот день своеобразной «Зубермановой» аурой.

### 3.

Из «Трех лилипутов» я отправился напрямик к Дабасовой; от Захара она отличалась разве что полом: оба принадлежали к тому роду людей, у которых порвана какая-то важная внутренняя перегородка, так что они скорее скользят, чем идут по жизни — эти фигуристы бросают с поразительной легкостью людей и города, меняют профессии, убеждения, стиль одежды. Захар родился в Курске, жил в Москве, потом в Хельсинки и, наконец, в Петербурге, он не получил порядочного образования, но был всесторонне образован; женился не по своей воле, а в результате несчастного альковного случая. Кирха выкинула плод уже после свадьбы, когда Зуберман смирился со своей новой ролью семьянина. Вместо того чтобы скорбеть о полусмерти недорбенка, молодожены поехали в свадебное путешествие в Китай. Кирха благоволила изменам Зубермана, потому что адюльтер смягчает нрав, но себе позволяла немного, так что Захар носил совсем маленькие изящные рожки, как у молодого бычка или Моисея; вишневые косточки лишь однажды попали на плешивую голову Зубермана и дали рожьи ростки — в тот день, когда о любви просил и так жалобно плакал, валяясь у Кирхи в ногах, ее друг детства, всю жизнь в Кирху влюбленный; она стерпела его щекотливые конвульсии, погладила по мокрому от пота голове, поцеловала в слезный нос и выпроводила; добронравный Зуберман в это время пил пиво в пабе за углом и стыдился, что не прибрал носки.

Зато нашелся повод встретиться, чтобы никогда уже не встречаться, с одноклассником по фамилии Возняк: он возник в какой-то электронной заводи, когда Захар бесполезно болтался в сетях, словно никчемный. Возняк, влекомый большим магнитом цивилизации, тоже переехал в Петербург, потому что здесь появилась вакансия: денежный резон, не гений места, призвал Возняка. И вот нашлась минутка, когда одну неприятность можно было перемешать с другой в ведре поганого дня. Возняк подъехал к пабу на какой-то заморской машине, без пиджака, но в олимпийке и штанах с верблюжьими коленками. Их разговор коснулся ничего, проехался по школе, осунулся и сник в неискренней улыбке. После второй кружки темного пива Захара понесло по волнам приятной ностальгии: он пытался высказать словами запах воспоминаний о солнечных улицах детства, о воздушном пьянстве дворов, когда ленивые собаки, скамеечные люди, ароматы плавленого асфальта, новой одежды, сентябрьских тополей — все кружилось вместе с качелями солнышком и залетало футбольным мячом на козырек подъезда, где уже собралась веселая компания бутылок, шприцев, окурков и плевков, так что мяч вторгался к ним внезапным ревизором и пугал, как Гоголь тетку. Пытался высказать, но делал это напрасно: чувства Возняка были вышколены, и вороны никогда не подлетали к его окну с надеждой, что их пересчитают, а сам Возняк старался не ронять мыло в душе, как хороший гражданин своей решетчатой страны. Захару было все равно, если на уроке его ругали за рассеянность, ведь оранжевая рябина в каплях дождя и шорох шариковой ручки Шуваловой Маши побуждали его созерцать, а не пересчитывать скучные числа. Бодрый день за школьным окном — машины, каблук, собаки — влек нестерпимо, поэтому Зуберман часто прогуливал уроки, а Возняк — если только боевые командиры класса — Петя Зарепин и Серега Авдеенко — приказывали прогулять, ведь коллективное действие сглаживает вину единиц, как быстро поняли школьники, потому что были детьми своей родины. И теперь

Возняк знал цену собственным полетам — это цена хорошего виски, который отправлял его в Шотландию душевной свободы, где можно было даже отплясывать в кругу нормальных парней.

1. Что чувствовал и проживал Возняк во время встречи с Зуберманом?

а) Боль в паху, вызванную чрезмерным приливом крови вследствие тяжелого приступа ночного онанизма, сопровождавшегося просмотром порнографии с элементами садизма. Другие, плохо заметные ощущения обитали в пригороде его души: повышенное давление глазного дна, сухость губ, легкая сердечная аритмия.

б) Он хотел, но не мог выпить пива — запрещали правила дорожного движения, — а вместо него пил минеральную воду из дорогой бутылки швейцарского производства.

с) Дешевый мотив популярной песенки уже второй день не шел из головы Возняка, как тот ни пытался справиться с ним: задерживал дыхание, пил воду мелкими глотками, просил напугать, колот себя иголкой, читал бабушкин заговор от чертей. Припев, одолевший Возняка, был таким:

Только этого, этого,  
Только этого, этого,  
Только этого, этого мало-о-о.

д) Старался подавить неприятные детские воспоминания, которые будила в нем невнятная речь Зубермана.

2. Что чувствовал и переживал Зуберман?

а) Холод пивной кружки, мягкое сиденье стула, твердую столешницу, красную перечницу.

б) Питье чешского пива (объем 0,5, алкоголь 4,0 %), которое бармен Володя слегка разбавил водой ( $H_2O$  с примесью хлора, не больше 5 % от общего объема напитка), возбуждало в нем вкусовые, обонятельные и осязательные ощущения.

с) Холод стекла пивной кружки казался Захару твердым и фиолетовым, поэтому он вспомнил черничные губы Анечки Миллендорф — с ней он целовался в разгар знойного термидора 1418 года Хиджры. Губы Анечки дружили с дубами, осинами и другой флорой деревенских предместий, но буколические дебри внутренних мыслей не мешали Захару в то же время вспоминать вслух школьную пору городского детства и другие поцелуи — с Юлией Пингвин — в подъезде шестнадцатизэтажного дома: с этой особой он целовался спустя месяц после того, как это делал Возняк, только на четвертом этаже, а Возняк — на втором. Возняк использовал особую технику: языком он достигал Пингвиновых гланд, но девушка этому противилась, ее тошнило, тогда как Зуберман, неумелый целовальщик, не проникал глубже последних резцов, кося языком вбок. Юля Пингвин была совсем не похожа на Анну Миллендорф, которую Захар целовал годом позже (глубже и ловчее) — эту разницу девиц ЗЗ переживал скорее в цветах, чем в геометрических фигурах.

д) Захар хотел чем-то оправдать путаность своей речи, и ему помог Кант, который в предисловии к одной из «Критик» просит извинить его за дурной слог, о чем вспомнил Зуберман и стал собой доволен. «Зачем, зачем, зачем я все это говорю пустому, ненужному человеку? Какой злой демон откровенности наматывает мой язык на свои стальные спицы?» — вдруг подумал Захар.

Думал ли Зуберман о своей жене во время встречи с Возняком?

Нет. Мысли о Кирхе, бледные ростки мыслей пытались пробиться сквозь жирный глиняный слой иных представлений, нагло пользуясь предлогом неприбранных носков (о которых Зуберман помнил, которыми он мучился, которых он стыдился!), но были вовремя выполоты и не оставили того привкуса, что мог бы стать



родственником (посаженым отцом, свояком или тестем) мнимому утюгу — вероломному захватчику тревожной фантазии какой-нибудь менструирующей домохозяйки, вышедшей по делам.

Что еще переживали однокашники? Чем завершилась их встреча?

Вдобавок ко всему Возняк был смутно недоволен той переменной, которая произошла с Захаром со школьной поры, а Зуберман был недоволен тем, что Возняк был чужд переменам и оставался все тем же ребенком, только забасил и несказанно вздулся. Вскоре Возняк бесцеремонно заговорил по телефону, не стесняясь грубых слов, а Зуберман снял обувь и взлез на стул с ногами, сложив их в сидхасану. Затем, допив третью кружку пива, Захар заметил, что линия Сатурна у Возняка слишком уж искривлена, и незамедлительно ретировался — сделал вид, что идет в клозет, а сам вышел вон, оставив однокурсника платить по счету.

\* \* \*

Венера не терпит либерализма, Эрот склонен к диктатуре — эти двое решили подшутить над Захаром. Когда наш брючно-пиджачный герой, бодрясь и сияя, воротился домой, не встретив на пороге заплаканного и жалкого любовника жены, то он первым делом, как всякий чистоплотный джентльмен, отправился в ванную, чтобы умыться лицо и вымыть руки. Кирха в это время готовила ужин, потому что хотела сгладить вину. Захар вошел домой незаметно, и в ванной, вытираясь светлым полотенцем, он гадал, каким стилем сейчас улыбнется ему Кирха: может быть, слегка печально, устало, словно бы говоря: «Это было так скучно, но пришлось. Ты же понимаешь»; или весело, шаловливо, притворяясь шкодливой девчонкой; или изобразит обычность, ничегаособенность. Зуберман не хотел увидеть что-то подобное, потому что предугаданные манеры — внебрачные кумовья разочарований; нехорошо, если Кирха повторит в яви то, что Зуберман представляет в уме. Поэтому он вышел из ванной, все еще промокая в полотенце свое плотное каучуковое лицо, пропитанное свинцовыми дождями Петербурга, слезами давно забытых женщин и одеколонунами ойкумены, — вышел, бубня в утиральник: «Вот я сейчас думаю, как ты мне улыбнешься. Есть несколько вариантов, и все они банальны. Но сейчас ты в таком положении, что соригинальничать сложно. Мимика человека не так уж разнообразна... Знаешь, очень неприятно на середине реки вдруг достать ногами до дна... А я только что обедал черт знает с кем в олимпийке». Проморгавшись из тьмы полотенца, Зуберман сфокусировал глаза и запнулся: смущенная Кирха глядела на него с ужасом, омерзением и мольбой — это был очень сложный взгляд, глубокий, с подводными течениями, с горячими и теплыми ключами. Зуберман решил было, что дело кончилось кошмаром: этот неудачник ее извращенно изнасиловал, и теперь придется убить или изувечить беднягу, а самому сесть в тюрьму, но Захар быстро понял, что мимический шедевр жены навеяло не прошедшее время, а самое настоящее, словно бы в эту минуту Зуберман предстал в обличье кафкианского жука.

— Что такое со мной?

— Полотенце, Захар...

Бедный Зуберман, как любой куртуазный мужчина, редко бросал вещи на пол, наоборот, он всегда поднимал платок, если его обронила дама; поднимал всякие монеты, как то: пятьдесят копеек, рубль, пять рублей и десять рублей, однокопеечные; пяти- и десятикопеечные монеты Зуберман не поднимал с земли, ибо считал это ниже своего достоинства, и даже если такая мелкая монета выпадала из его неловкой руки, когда Захар покупал что-нибудь, он пренебрегал ей, чувствуя себя при этом рас-

точительным и гордым Борджиа; он поднимал книгу, если та падала с полки, изредка поднимал раскиданные носки, как свои, так и Кирхины. Но в этот раз Захар Зуберман не поднял, а, наоборот, бросил какую-то вещь, предмет (возможно, белый) — полотенце на пол — и побежал (есть хорошее слово «стремглав», родственное стреле, пронзающей мглу) обратно в ванную.

Вопросы к тексту:

1. Почему Кирха так странно посмотрела на мужа?
2. В чем могло быть испачкано полотенце?
3. По вашему мнению, станет ли Захар есть ужин, который приготовила для него Кирха? Если нет, то почему?
4. В следующей строке впишите в пробелы между запятыми, чем было пропитано лицо Захара: ..... , ..... , ..... , ..... .

\* \* \*

Единственной причиной ссор Зуберманов и спорадических приступов ревности был дендизм Захара, его любовь к дорогим костюмам. Кирха недоумевала, зачем Захар чистит и гладит брюки, зачем выбирает ткань для нового пиджака и возится с невероятными узлами галстука. Сама Кирха всю жизнь донашивала платья и кофты младшей сестры, не красилась, не душилась. Дендизм Зубермана казался ей предательством, лицемерием, ведь именно Захар избавил ее от чувства ответственности перед семьей, заставил бросить ненавистный институт, уйти из презренной конторы, причем взамен предложил бытие на грани продуктового бедствия и коммунального банкротства. С тех пор как Кирха забеременела, ее отец, Андрей Валентиныч, стал отдавать дочери большую часть хорошего государственного жалования, потому что хотел внуков. Он даже успел купить молодоженам дряхленькую квартирку на Васильевом. А потом случился выкидыш, и Андрей Валентиныч перепутал свое искреннее горе с мнимой трагедией дочери, так что еще больше расщедрился. Пока папаша носил траур по внукам, заливая горе горькой, Зуберманы взрывали в Поднебесной красные петарды и пили зеленый Би Лочунь. Промотав таким способом все деньги, Зуберманы воротились домой, где моему другу пришлось взяться за переводческую халтуру. Помимо основных европейских языков, он знал арабский, но смеялся мне в лицо, если я предлагал ему заняться серьезной работой. Великих философов он переводил из баловства, ради шутки. Как-то раз он прислал мне по электронной почте фрагмент какого-то арабского перипатетического трактата. Как оказалось, его автором был малоизвестный персидский философ, а перевод сделал сам Зуберман. Фрагмент по моей просьбе опубликовали в одном из университетских изданий, но Захару было плевать на это. Можно представить, как я разозлился, когда узнал, что Дабасова снабжает Зубермана эзотерическим ширпотребом! Но что мне оставалось делать? Я шел к Дабасовой не для того, чтобы кинуть перчатку, — я хотел взять у нее денег на электричку. Захар уже напоил меня хорошим сидром и подкинул денег на корм Блэку, моему среднеазиатскому другу, который замерзал на цепи в далеком садоводстве Жи-ши, где я обитал с некоторых пор. Я знал одно: там, в Жи-ши, где ветер завывает в ельнике и лязгают сосульчатые зубы призраки снеговиков, помирает с голоду пес Блэк, верный сторож моей голодной бессонницы. Ведь я дошел до того, что стал питаться консервами, хотя все еще брезговал отнимать корм у собаки.

## 4.

Фигуристка Дабасова жила в коммунальной квартире на улице Радищева, в семиугольной грязно-розовой комнате с эркером; мебель частью была советская, частью досоветская, имелось старинное зеркало в форме продолговатой дорожной лужи: оно вращалось на подставке, так что можно было созерцать отражение потолка. Кровати не было: Дабасова спала на раскладушке, а для встреч с фаворитами приспособила отрез шинельной ткани, который она расстилала на полу, а потом складывала обратно; в комнате было несколько стульев и шахматный стол, до того старый, что навевал мысли о клопах и подагре.

Дабасова провела меня в комнату по тусклому многодверному коридору, избралась на раскладушку и принялась надевать мужские носки. На столе гнил виноград и каменели останки печени. Я заметил, что платье моей подруги, надо сказать, слишком короткое для ее увесистых ног, словно нарочно было подобрано в тон винограду. В одном из семи углов комнаты, вдали от светлого эркера, на стене висел чудовищный модуль, он был похож на парашютиста, который запутался в ветвях дерева и повис беспомощной мухой.

— Мулат с развитой мускулатурой... не ожидал от тебя такого. Кстати, их обычно завешивают покрывалом или держат в отдельном помещении, — сказал я, не без стыда разглядывая чудище с напряженным фаллосом.

— Хо-хо! Откуда ты знаешь? Ты же против модулей? — усмехнулась Дабасова.

— А ты его тряпочкой протираешь? Сейчас специальные ароматические растворы появились, всюду о них гудят. Слушай, а зачем ты спишь с этим манекеном, у тебя же куча любовников?

— Я не ханжа и люблю экспериментировать.

— Угощайся! — предложила Дабасова, заметив, что я интересуюсь столовым гнильем.

— Я бы не отказался от чая.

— Я могу расстелить ткань. Попьем чай на полу, хочешь?

— Нет, спасибо. Лучше так.

Дабасова заваривала чайные пакетики, поэтому обычно я приходил к ней со своим чаем, но в этот раз было не до лунцина.

— Ты не боишься, что на том конце невидимого провода сидит какой-нибудь жирный сифилитик в объемных очках?

— Ну и что? Я же сама выбираю внешность. Вчера закачала в свои электронные очки эйдол Юрия Скарцезо, — ответила Дабасова не без кокетства.

— Поздравляю! Теперь представляешь себя Джулией Низадзаки? Если серьезно, то я боюсь, что тебя когда-нибудь задушат. Ты слышала о насилии во время виртуальных контактов?

— Но я же сама регулирую напряжение мускулатуры модуля. Я не дура!

— Убийцы умышленно втираются в доверие, а потом душат наивных Дабасовых.

«Я ему так доверяла! Мы переписывались полгода. Ваша честь, я не такая, чтобы соглашаться на следующий день после знакомства. Этот подлец так понравился мне, что я даже не стала менять его внешность на эйдол моего любимого Дориана Седжвика. А потом, когда мы оговорили все допустимые способы... вы понимаете? Да, да, подонок! (Кричит в сторону обвиняемого.) Я все тебе разрешила, но ты даже не стал... вцепился мне в горло, когда я увеличила напряжение мускулатуры. Я чудом успела отключить модуль. Я уже задыхалась!»

— Это очень опасно. Представь: он ласкает тебя пальцем... и вдруг засовывает руку по локоть! Такое уже случилось.

— Ты дурак, Смольский! Я не связываюсь с идиотами. Я вообще-то его купила, чтобы с Женей играть, когда он в командировке.

— А Женя с собой возит модуль?

— Напрокат берет в магазине. Ты просто ханжа! И тебе самому, наверное, хочется попробовать.

— Ага, попробовать какого-нибудь извращенца, который пришлет мне в личный кабинет фотографию Дженетт Сислоу. Спасибо, обойдусь! А тебе не противно, что твоя Женя обрабатывает электронную бабу?

— Но он же представляет меня! — от возмущения Дабасова вскочила, но потом снова опустила на табурет.

— Он может представлять кого угодно: в его распоряжении коллекция эйдолов. Он может предпочесть свидание в виртуальном клозете или запереванном подъезде, а ты в это время будешь отдаваться ему на Лазурном побережье.

— Кстати, уже выпускают потеющие модули. Хо-хо! Но я брызгаю свой дезодорантом Жени. А еще специальные модули придумали для инвалидов. Ты знаешь Алену Дибашенко?

— Нет.

— Она победила в номинации «Мисс планета». Недавно Алена призналась, что занимается интимной благотворительностью. Это когда инвалидам оказывают виртуальную секс-помощь. Даже для парализованных специальные модули изобрели. Я считаю, что это правильно. Гуманизация общества.

В последних ее словах была особая серьезность. Я не стал делиться с Дабасовой мыслями на этот счет, потому что хотел еще взять у нее денег. Я понял: чем дольше я задерживаюсь у нее, тем больше у меня шансов раздобыть на проезд, а самый быстрый способ преодолеть сто километров — лечь вместе с ней на пол; если бы я поспешил уйти, то не добрался бы в Жи-ши даже к утру. Так неподвижность помогает перемещаться в пространстве. Это подобно бегу Алисы по стеклянным полям Зазеркалья.

— Слушай, ты можешь уколоть себе палец иголкой или дать мне сто рублей?

— В смысле? Я поняла. Тебе опять нужны деньги. Хорошо, я тебе дам, но с условием.

Я поднял брови: пьешь это зелье из пакетиков, а Дабасова еще условия ставит — экая наглость! Но в конце концов я добился от нее помощи — трюк с иголкой удался. Хотя пришлось еще читать оригинальный опус Дабасовой о Гуссерле и слушать ее песни на немецком языке. В ее голове как будто бы переливалась ртуть из одной полости в другую, оставляя недолговечные подтеки в виде мыслей, — это была система перекрестных ссылок, гипертекст, в котором нет ни центра, ни последовательности, ни окончательных выводов. Стиль мышления Дабасовой можно было понять по ее лицу, выражения которого менялись со скоростью полета стрекозы. Нельзя было сказать, красивая она девушка или нет: порой Дабасова казалась хорошенькой, порой напоминала засохшую корягу с кадыком. Иногда, широко раскрыв глаза, она смотрела куда-то сквозь стену, потом вдруг вскидывала руки, дергалась в сторону всем телом, делала нелепый круг по комнате, могла выдать книксен и порхнуть феечкой; то же самое в ее текстах — бег на лыжах помешавшего аспиранта с кафедры онтологии и теории познания по заросшим травой железнодорожным рельсам. При этом она была уверена в том, что мыслит предельно логично и лаконично.

Когда я уже собрался уходить, Дабасова вдруг схватила меня за руку. Я взял ее ладонь и стал разглядывать линии.

— Кстати говоря, развилка на конце линии печени, обращенная к запястью, грозит человеку насильственной смертью из-за его собственных преступных действий.

В ответ Дабасова смешно запрокинула голову, закрыла глаза и подставила губы для поцелуя.

## 5.

Льет и льет дождь, словно твой Девкалион с ума сошел, улицы превращаются в реки, так что и книга уже готова распухнуть, но вдруг какие-то маленькие работники, скрытые за форзацем, взялись откачивать воду прямо в жилетный карман читателю.

Я следовал по Литейному проспекту в сторону Витебского вокзала, и мне чудилось, будто изящное насекомое с щекотными лапками, готовое пасть под ударом моей руки за право оставить след на стекле дня, преследуя меня, осыпает моросью, как пыльцой. Города похожи на морскую гальку: намокая, становятся красивей.

Нищий у Владимирского собора помахал мне вслед, когда я обернулся. Примертой того, что знаешь город, служит перечень знакомых лиц: две-три героиновых проститутки, несколько попрошаек, коллекция старух ветошниц и саксофонист на площади, а также ночные лошадицы, готовые усадить в седло даже тех, кто не может передвигаться и на своих копытах без посторонней помощи; эти местные старожилы со временем становятся рухлядью и грязью подворотен, сливаются с атмосферой города, его лимфой — это и есть душа пространства, вечное в преходящем, Достоевские слезы твоего квартала, где ливень впечатлений притаился в опасном стакане горького чая.

Что касается быстрых автомобилей, современной рекламы, порой дребезжащей, порой тихой и глянцевой чепухи, то наше время не так уж сильно отличается от других эпох, как это может показаться; суть главного отличия лежит на поверхности, в сфере вещей — именно здесь лучше всего заметен нынешний перелом, а лучше сказать, «выворот». Недра вышли наружу: железная руда, нефть и ее производные — из этого и состоит «современность», повсюду колышется начинка Земли. Мир вывернут наизнанку, чувствительным людям это претит, но есть и патологоанатомы — любители поковыряться в том, чему место внутри. Этих поклонников техники называют сингапурцами. Современность вовсе не порочна, не бездуховна, она неестественна, как мозг на лице или сердце под мышкой. Мраком подземелья светятся все технические приборы, машины, бетонные постройки, поэтому современным людям свойственна подавленность, о которой не знали еще в восемнадцатом веке. Индустриализация подарила нам почти безграничную «свободу», загнав нас под землю, а вернее сказать, выпустив подземелье наружу.

Можно, конечно, продолжить рассказ, демократично переведя взгляд на первого встречного: их много здесь, уличных, вокзальных, всех неописанных, неописуемых — все они лишь подразумеваются, но не живут в страницах; они как тени, как еле слышные шаги несуществующего пешехода, ведь автор не играет сам с собой на огромном футбольном поле, он пишет и дышит среди сотен живых и тысяч мертвых людей, которые в любой момент могут потребовать и себе чуточку места; запросто можно было бы поближе познакомиться вон с тем бородачом у входа или с этой смазливой дамочкой (уж мы бы дотошно изучили все ее кружева и секреты!), но электричка вот-вот уйдет, убежит из-под носа, как фраза от сонного писателя.

Замешкался с... сын: долго вытаскивал сдачу из-под окошка, за которым сидела татуированная кассирша; в это время мой карман завибрировал — звонил 33 (облака, бабочка, две пары женских грудей или, может быть, распятие?), уговаривал

приехать к нему, чтобы успокоить Кирху и забрать ее с собой в Жи-ши... Сгоряча он пообещал мне, что оплатит такси до садоводства, но потом одумался и стал уверять, что песик потерпит и до утра. «Без тебя все рухнет!» — возопил Захар и бросил трубку, то есть расколотил ее об стену, судя по звуку. Делать было нечего, я полон предрассудков: люди важней собак и прочая ерунда в этом духе — так что спиной вперед прошел пять метров, словно и не подходил я к этой кассе, развернулся, уперся в грудь охраннику и вышел вон с вокзала. А ровно через сутки я снова стоял в очереди за билетом, но уже с Кирхой и вспоминал о своем стареньком студенческом, который был давно просрочен и не у дел; пришлось раскошелиться по полной цене, но какая мне разница? — деньги-то Зубермановы. Кирха уже успокоилась, перестала всхлипывать и мочрить лацкан моего пиджака, хотя губы остались надутыми бывшей похотью слез. В электричке она съела сальный пирожок и запила чаем, который наливает пригородная баба мерзлым ездокам. Потом машинист по всем вагонам продребезжал заклинание, перечислил запреты, пожелал счастья, и мы двинулись в темноту. Но текст не дышло, у него своя голова на плечах, так что перелетим назад, как бодрые гуси волшебных историй.

Я прискакал к Зуберманам с надеждой вымыться после Дабасовой и поесть, чего мне в Жи-ши не светило. Мое тамошнее бытие начинало меня пугать, я точно не справлялся с бытом: печка дымила, каждый день отравляя меня древесным чадом; воды не хватало, и первые заморозки ударили по мне, когда однажды утром я обнаружил в кухоньке рядом с входом огромную грудку грязных, вмерзших в жирный лед тарелок; дерьмо за Блэком я греб лопатой, а собственный горшок опорожнял в яму; колодезная вода сгнила, и ведра были упущены, газовый баллон испустил дух, дрова иссякли; в единственном магазине, удаленном от меня на километры, меня считали гурманом: я перепробовал все виды шпрот, разномастную кильку, рыбные паштеты (сорок рублей за штуку), а также знал толк в китайской вермишели, которую изящно сервировал в плоских черных тарелках. Когда я пришел голодный, Захар предложил недожаренной свинины, водки, гороху. Я умирал, изо всех сил не думая о бедном псе, и старался не представлять, как с голодухи он шамкает свой хвост.

Зуберманы жили в протекших казематах Васильостова, и дверь их была за кирпичным прорубом в сырой зеленой стене Осьмнадцатой линии — в трещине жили они, как тараканы поэзии. Вот и комната: серые обои в узорах ар-нуво, три стула без ножек — седло да гнутая спинка — возле самодельного столика из четырех брусков и стекла, на полу циновки, матрас; вещи Зуберманы хранили в шкафу на кухне, где стояла обделенная вниманием газовая плита и грудился разный хлам; а бумажных книг в этом доме не терпели, так что комната казалась пустой. Две фигурные доски со струнами, останки фортепьян, висели на кривых стенах комнаты. Веселая голая лампа свисала чуть ли не до пола, светила белесо. Захар, крестом распятив руки, играл на струнах, что позволял метраж его комнаты; и в этот раз тоже, обратившись твидовым задом ко входу, где мне отперла заплаканная Кирха, Захар набренькивал что-то глухое да так и попятился ко мне с объятиями, перепугав.

Зуберман стал потчевать меня скромной пищей, а Кирха удалилась в темный угол, где села с видом крайней мученицы, смирившейся и безнадежной. Захар налил себе и мне подогретой водки, но беседа наша терялась в недомолвках; скорее из ухмылок и шепотков, подмигиваний и кивочков я понял, что к чему. Захар, как я догадался, хотел встретиться с одной из любовниц у себя дома, а жену спроводить. Он подтвердил мои домыслы, когда Кирха наконец-то убежала в кухню, в истерике топчя полы, как ежик. Оказалось, что жена его вдруг осмелела и, предав

свои идеалы, стала ревновать, буяннить и в знак протеста даже порвала на нем рубаху. А Захару негде было встретиться с Дариной: в художественной студии жила безвыездно Валентина с Мишкой, воюя с бывшим супругом, а поездки домой к Дарине обходились Зуберману целой приключенческой историей. Она жила в отдельном трехэтажном доме, который стоял недостроенным во дворе, где рядом был еще такой же дом, но не пустой, а с родителями Дарины: окна домов напрямую встречались, а занавесок в новом доме, куда Дарина выселилась, нарочно поссорившись с родными, не было. Как не было и речи о том, чтобы привести Захара в дом явно: отец являлся владельцем ружья и горячего нрава, а мать — больного сердца. Хотя их дочь и блудила с тринадцати лет, она делала это скрытно: загляни мама несовершеннолетней дочке, которой и в кино-то ходить не положено было, в сумочку, и нашла бы там какие-то таблетки, резинки, зеленые окурки, но посчастливилось не видеть. А Дарина была так рассудочна с отрочества, что пользовала всё и всех умеренно, так что лишь раз и вовремя наведлась к женскому врачу, сумев не сделать маму бабушкой. Но Захара вполне скрыть не сумела. Однажды, везя его к себе ночевать, на дороге она встретила отца, который ехал навстречу и тут же позвонил в салон ее автомобиля: «Какого оборванца ты везешь?» Соврала, что однокурсника, а потом скрывала Захара в чуланчике за вешалкой, когда кто-нибудь входил к ней в дом. На подъезде Захару вообще пришлось лечь на заднем сиденье и накрыться непросохшим холстом, так что испачкался в краске. А дома — не все же в чулане сидеть — он ползком и перебежками преодолевал оконные проемы, полноценно существуя только в промежутках стен, где мог и выпрямиться. Ужинать пришлось сидя на полу, пригибаясь даже, а то и лежа, по-античному; и пиршество закончилось как должно.

Вся эта история мне не понравилась. Во-первых, потому что Захара больше волновал пространственный сюжет, чем любовный: куда интересней ему было расположение домов и участников этой игры в прятки, чем сама Дарина; так было и с Даной, которую он держал из баловства: потому что там, на Лиговке, где жила эта девушка с ломкими ногтями, в ее доме, на ее этаже каким-то чудом поселился его, Захара, первый учитель физкультуры — заездом из детства. Зуберману нравилось встречать физкультурника и здороваться с ним, нравились его черные усы и плотная фигура атлета. Учитель, зная, что Захар приходит к женщине, всегда кокетливо ему улыбался при встрече, а иной раз бросал гадкую шуточку: «Ну что, не зря я тебя отжиматься гонял, а?» — и хлопал Захара ниже спины. Для 33 все это было таинственной шизофренией судьбы, которая иной раз выдает такую гримасу, что делается смешно и дико. Во-вторых, рассказами о приключениях с Дариной он выдал свою ложь: оказалось, что он знался с ней не меньше двух недель, а не познакомился сегодня...

Впрочем, я не осуждал Захара, потому что — я знал это — он был способен любить, просто не нашел женщины впору: и Кирха, и Дана, и Дарина — каждая была хороша по-своему, но Зуберманово сердце принадлежало кариатиде дома двадцать семь по улице Врангеля. Сюда Захар приносил цветы и подарки: конфеты, фрукты, мармелад, но хладнокаменная дама была непреклонна, так что дары потребляли местные ветошницы; ей, кариатиде, он предпочел всех своих женщин, принадлежа им телом, не душой; к ней приходил он в белые ночи прибалтийского лета, в темные дни петроградского ноября. Но лишь однажды, как рассказывал Захар, кариатида удостоила его поцелуя, сойдя со своего постамента волшебным вечером в канун Великого Юла.

Наутро после водки, когда мы все проснулись в половине четвертого дня, Зуберман предложил выпить чаю. Достал японский чугунный чайник и две пиалы с пляшущими аистами; насыпал в деревяшечку плоские зеленые опилки, шершавые

и ребристые; прогрев чайник кипятком, бросил в него лилипутские весла, и те, очутившись в горячей бане, заблагоухали жареными тыквенными семечками.

— А еще у меня есть кое-что, смотри!

Захар достал из кармана оранжево-белую сохлость и положил себе на ладонь. Я приблизился рассмотреть. Это была апельсиновая цедра, но с каким-то действием на поверхности: мелкие крапины чуть заметно перемещались на белой изнанке. Вдруг я заметил, что обычная цитрусовая прожилка скорее напоминает голубой ручеек в нитку толщиной. Я вытащил из кармана очки для чтения, навел стеклышко на цедру, и передо мной развернулся мир: холмы, река и бусина деревни выявились предельно отчетливо; какая-то старуха, согнувшись в три погибели, что-то выкапывала, другие человечки ходили взад-вперед по берегу; даже нечто похожее на самолет, размером с мошку, пролетело над местностью и, обогнув загиб апельсиновой корки, скрылось, оставив дымную полоску выхлопа. Но вдруг Зуберман сжал этот мир в горсти, занес над чайником и метко бросил в благоуханный ад. Я вздрогнул, когда Захар залил все кипятком и закрыл чугунный чайник крышкой.

— Какая невыносимая жестокость! — воскликнул я с досады.

— Эта жестокость оправдана вкусом, попробуй, — Захар наполнил мою пиалу. — А когда ты протрезвеешь благодаря этому чаю, то все они станут частью твоей трезвости, навсегда.

— Но какой ценой! — я продолжал возмущаться, хотя чай был и впрямь потрясающий.

Мы еще пили чай и горячую водку, затем я получил от Захара спасительные деньги и стал прощаться с ним, дожидаясь нерасторопную Кирху. И вот, счастливо обилеченные, мы уже садились в легкую электричку, сулившую позднее паломничество в страну Ленинградской области.

## 6.

Глупый, судя по строению черепа и выражению лица, некрасивый пассажир в спортивной одежде (это был тот случай, когда мускулатура не уступает жиру и голова от этого делается плосче, так что экземпляр, глядишь, захрюкает) оглядел мой костюм неодобрительно, словно заподозрил в нем тайную жизнь; и не зря, ведь наряд мой был с родословной, буквально каждая его нить имела историю.

Исповедуя вертикаль, минуем ботинки, чья судьба коротка, как шнурки, и связана с легендарным блошиным рынком, где Ты купила свой розовый макинтош.

Брюки — товарищеский дар Захара, в будущую среду им исполнилось бы сорок лет (фабрика «Рьяная большевичка»); неношенные, лежали они в коробе таинственной пенсионерки, Зубермановой родственницы, под грудой волшебного скарба. Захар получил их в годы лютых бедствий: грубое желто-зеленое сукно, широкие штанины, руки в карманы входят по локоть — Зубермановы штаны...

Новейшая часть моего костюма — пиджак; я приобрел его в магазине для немущих денди «Зоя и Зой», куда мы ходили когда-то выбирать Тебе красное платье.

Жилетка Твоего отца. Я помню свадебную фотографию, одну из тех цветных, но выжженных временем до ало-желтой бледности, где Твой отец младше меня, где Твоя мать с предприимчивым огоньком во взгляде; жилетка видна под расстегнутым фраком. Я не носил ее, потому что Ты ненавидишь коричневый цвет. Сзади на жилете смешные сборки, он короток мне, так что пиджак можно снять лишь в компании близких друзей и с условием, что надел ремень вместо подтяжек. Порой, когда выступаю с докладом или просто нахожусь в обществе, я боюсь, что Ты появишься вдруг и потребуешь вернуть жилетку, которая все еще пахнет свадебным «Советским» шампанским.



Рубашка длиною в роман, приятно колется ее жесткая темно-серая шерсть. Я ношу ее с шестнадцати лет, чуть меньше половины жизни; я выудил ее из сундука Ликиной бабушки. Мне нравилось, что была порвана в локте моя «пиратская рубашка», но Ты пришила заплатки на обе руки: из добрых побуждений, но против моей воли — формула Твоего стиля. Ведь Ты знала, какую службу сослужила мне эта прекрасная дыра, когда я разыграл драму биполярного расстройтва у психиатра в военкомате: порванный локоть хорошо дополнял образ лохматого психопата, страдающего мучительной бессонницей, вегетарианством и буддизмом костного мозга. А что такое Лика? Кто такая Гликерия? Прежде всего это арбузные благовония, аромат которых всюду ее провожал. Над нами смеялись торговцы восточными штучками: «Где видели вы кейфующего араба в арбузном дыму?» Лукерью помыслить нельзя без этого запаха, как о Тебе нельзя подумать без дождливой хандры, так что должен быть и рай арбузных благовоний, и рай Твоей хандры с рекой вермута. Чем отличаются женщины? По-разному обходятся с гранатом: одни его и в рот не берут, другие сплевывают косточки, а третьи разжевывают косточки до сладкой кашицы и, не стыдясь, глотают.

Узкий коричневый галстук в горошину: отчим привез его из Лондона лет тридцать назад, а я научился завязывать необычным узлом «троица». Ты не любила галстуки, пиджаки, усы и сигареты, и вскоре беда постучалась в нашу дверь Пятой симфонией Малера, поэтому Тебя больше нет в перечне персонажей, Ты нарочная условность, шутка. Ты не существуешь. Читатель только теперь, заметив срок годности, узнает, что рассказ несвежий, в его кармане лежит выстиранная и выцветшая купюра другого государства; картина висит за стеклом, на котором какой-то шутник нацарапал свои инициалы, — так читают повторный перевод с третьего языка, так мать оказывается приемной, так обманутая уборщица изо дня в день поливает пластмассовые цветы каблучным курам на смех, так в шоколадном яйце находишь пакость. Вот так и я подсунул плесневую историю, словно голубой сыр, я подкинул ее, как студент жеваную жвачку в профессорский карман добротной шерсти.

Засим имелась ночь, у билетерши на лбу имелись две ровные линии. «И кто проложил ей эти рельсы?» — подумал я, вынимая билетик. Так вышло, что Кирха своей успела скатать в мягкий круглый катышек и теперь развертывала его в надежде, что там сохранились данные проезда; контролерша искренне пыталась прочесть дату на билете, но та стерлась, изошла в комканый прах. «Придется вам оплатить хотя бы половину пути», — сказала добрая женщина с чековым аппаратом на груди. Плохи были наши дела. Я стал доставать Зубермановы гроши, но Кирха запротестовала: «Тебе еще собачку кормить». Я представил себя каким-то грудастым Буддой с присосавшейся аптекарской пиявкой по кличке Блэк. Что мне оставалось делать? Захар велел глаз с жены не спускать, и я собирался буквально исполнить его пожелание, не делая исключения для бани, но мои планы рухнули: Кирха уже направилась к выходу, решив сесть на первую обратную электричку, и я не мог запретить ей. Возвращаться обратно вместе с Кирхой было выше моих сил, если учесть, что денег на полный билет в Жи-ши мне бы теперь не хватило, вернись я в город, потому что мы потратились на сальные пирожки с поганим чаем...

Поезд остановился, Кирха махнула мне вялой рукой, улыбнулась правым уголком несчастного рта и сгинула в сырости платформы. Я сразу же позвонил Зуберману, хотя Кирха заверила меня, что домой возвращаться не будет, а поедет к друзьям. Захар даже не удивился такому повороту событий, сонно пробубнил что-то вроде: «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай» — и первым сбросил вызов. Нищее убожество в полуперчатках дополнило мой холодный вагон, машинист набирал скорость.

Теряя компанию, чувствуешь приятную легкость, и ясность освеженной совести может прислать квитанцию с перечнем вопросов. Зачем ты замусорил свою жизнь этими ненужными людьми? Зачем прыгаешь с места на место, словно земля горит под ногами? Дешевое вино, глупые женщины, лишние разговоры — все самое дрянное, какая-то пыль бытия. Забился тараканом в паркетную щель и ждешь у моря погоды, словно ты не герой, а нежить в подтяжках! И вот появляются тревожнейшие приметы крайней подлости: оправдываешь себя тем, что ежедневно читаешь Пруста! Как ты вообще оказался на краю ночи в садоводстве Жи-ши? Заманчивое объявление: бесплатное жилье с подвохом собаки, которую нужно кормить, — вонючий сыр в бесплатной мышеловке. Такими вопросами можно заболеть, когда остаешься один, но мне было плевать на это, я порвал квитанцию. Все эти душевные терзания гроша ломаного не стоят, и если что-то там гудит на заднем плане сознания, то стоит включить погромче зарю детских воспоминаний, задымить голову ароматом свежих городов и очнуться в каком-нибудь рябиновом сентябре, который пахнет асфальтом и каштанами, на площадке возле синей школы; вот мальчик с разбега ударяет по мячу, и тот летит полосатой сферой, увеличиваясь в страничную ширь, и вдруг бьет читателя прямо в лицо, в кровь разбивает губы.

## 7.

Идет влево, цепь поднимается с земли, напрягается, дергает; идет вправо, цепь тащится по дерьму, напрягается, душит; грызет цепь, пытается лапой стянуть ошейник. Ночью — вой, днем — тяжелый, голодный сон. Свободный кот сидит в двух метрах от будки, поймал голубя, дразнится, не угощает; так бы и хрустнул в пасти, а птичка на закуску. Что ему стоит превратиться в синего джинна и, напялив цилиндр и галстук-бабочку, обратиться ко мне, спящему пассажиру, с такими словами: «Я ждал тебя первую ночь и клялся, что буду верным тебе всю жизнь, если ты придешь и накормишь меня. Я ждал еще целый день и вечером поклялся, что твою жизнь буду ценить выше своей. Но вот я ждал еще ночь и еще день... и вечером я поклялся, что убью тебя!»? И я просыпаюсь с чувством вины и чувством пустого вагона. Хорошо спать на ходу под нежный дребезг железа, и так не хочется вставать и выходить на холод, но такова жизнь! Меня благополучно выплюнуло во тьму, и я побрел по направлению какого-то школьного правила, которое вдруг стало поселением — не слишком-то широким, не шибко людным, отнюдь не шикарным, — и если местные жильцы все ели жирную селедку, то потому что — Север.

Фонари вдоль дороги, звездный ковш да луна — вот и все освещение; мелодия ночного лая не менялась с античных времен, хотя еще раньше, как свидетельствует Псевдо-Гераклит, собаки «голос имели другой, похожий на стрекот цикады, что даже страшнее казалось, чем лай современных нам сук». Кто-то идет впереди, кто-то шествует сзади, и даже ночной велосипедист обгоняет тебя. Яблоки в высоких суфийских шапках снега в темноте не видны. Слева и справа дома вдруг сменяются лесом: жилия древесина — с людьми, живая — с птицами на ветвях.

Так я следовал от станции по невзрачному селению, которое заканчивалось мостом через бурю северную речку. Десятиминутный ход через тьму как форзац «Книги мертвых». Потом я свернул на тропинку, ведущую в садоводство Жи-ши, фонарик мой сломался, я ускорил шаг и стал считать повороты — четырнадцатый мой, у сломанной колонки. Где-то здесь зарубили мальчишку. Но я сбился со счета и пошел не туда, в дремучие пролески, в проулки, мимо однообразных финских дач и русских недостроек. Заплутав почти всерьез, я решил дожидаться недалекого

утра под елочкой, но снова расслышал знакомый лай и зашагал на него. Я блудил и подбирался к дому тишком, чтобы ухо какой-нибудь безымянной бездомной псины не шелохнулось и не навлекло на меня гнев бесхозной защитницы вольного простора, наобум сторожащей косые заборы. «Когда найдешь ты свой последний дом...» — наивная строчка пошленького поэта; знал бы он, где строят иные дома, в каком тенистом прилесье громоздят загороди. Нашлась уныло проскрипеть оградная калитка, я звякнул ключами в темноте и заметил на пороге черную глыбу с двумя красными звездочками — она бросилась на меня с возмущенным, обиженным лаем.

Среднеазиатская овчарка любит того, кто ее кормит. Когда меня знакомили с Блэком, я видел одни лишь зубы, огромную пасть и глаза, налитые красной ненавистью: он рвался ко мне так, что чуть не перевернул будку. Потом я его накормил, но долго еще обходил конуру, не полагаясь на привязь. Однажды я отлучился в город, и Блэк меня успел позабыть, так что пришлось кидать ему печенье, чтобы прийти в мой Баскервиль-холл.

Кот, фаршированный голубем, только разжег аппетит, и порванная цепь лежала возле рыжего хвоста, решительно превосходя его длиной; по закону великой симпатии моя шея тоже не была коротка, и ее оцепляло серебро. Точный прыжок и несколько верных укусов свалили меня наземь, и я, минуя ужас и боль, как бы со стороны слышал, пока руки слабели в пушистых объятиях и с каждым ударом я все глубже увязал кулаком в черной зыбучей шкуре, слышал неподкупный надрывный визг. Потом в ушах задрезжал грузовой лифт, призрачно заныл старый холодильник, мама, ласково обняв сиреневый ком сладкой ваты, напутственно подмигнула с земли, а я покатился вниз головой по вычурным петлям русских горок. Кровавый пузырь, как детская жвачка, вышел у меня изо рта вместе с обильной розовой пеной и полетел, полетел вслед за мной, подхваченный ветром все выше, и выше, и выше, — кровавый пузырь над миром; а навстречу ему надулся другой, вспух над горизонтом — Гелиос.

Текст чувствует, что близок его сон без сновидений; остается только внутренняя сторона обложки, где можно еще что-то записать, а потом — черная тьма переплета. И верстовой столб «конца», мимо воли автора, красуется древней надписью одной из погибших империй:

Фабрика «Светоч» ЛПО «Бумага»  
 Записная книжка  
 Арт. 1508. Цена 22 коп.